

HOMO RIDENS

«Многое сам, Телемак, ты своим угадаешь рассудком;
Многое демон откроет тебе благосклонный; не против
Воли ж бессмертных, я думаю, был ты рожден и воспитан».
Гомер. «Одиссея»

«Быть одной вещью неизбежно означает не быть всеми другими
вещами; смутное ощущение этой истины привело людей к мысли, что не быть
значит больше нежели быть чем-то, и в каком-то смысле означает быть всем»
Хорхе Луис Борхес «Письмена Бога»

Когда мы, люди, оказались далеко не столь мыслящими, каковыми
век более радостный счел нас в своем почитании Разума, для наименования
нашего вида рядом с homo sapiens поставили homo faber, человек-делатель...
Мне кажется, homo ludens, человек играющий, указывает на столь же важную
функцию, что и делание...

Иохан Хейзинга

I

Два новых лекарства, уже широко применяемые современной медициной — прозак и риталин – открыли путь к тому, что было удачно названо «косметической фармакологией», приему лекарств не для терапевтических целей, а просто потому, что человеку от них становится лучше, чем хорошо, или удобнее.

Прозак – сильнейшее средство против депрессии и для миллионов людей, страдающих ее клинической формой, это действительно спасение. Но не существует определенной демаркационной линии патологии при низких уровнях серотонина в организме (что считается причиной депрессий и чему помогает прозак), а в современном мире есть упорная тенденция расширять область применения лекарств на все большее число состояний. И все легче найти врача, который согласится, что то или иное неприятное, тяжелое состояние – например низкий уровень самооценки – есть патология. И прозак превращается в «пилюлю счастья».

Риталин, в отличие от него, начинает служить средством для общественного контроля. Это лекарство используется для лечения синдрома, известного как «дефицит внимания – гиперактивность» (ADD/ADHD: attention deficit – hyperactivity disorder), – заболевания, обычно встречающегося у младших школьников, которым трудно тихо сидеть на уроке. Причем слово «гиперактивность» было добавлено сравнительно недавно и как определяющая характеристика. За несколько десятков лет изучения никто не мог указать причину ADD/ADHD; эта патология распознавалась только по симптомам, и врачи ставят весьма субъективные диагнозы, если у пациента наблюдается достаточное количество перечисленных симптомов, само существование которых – вопрос далеко не простой.

Люди молодого возраста, в частности мальчики, предрасположены не к тому, чтобы сидеть за партой много часов подряд, не сводя глаз с учителя, а к бегу, игре и прочим занятиям, требующим физической активности. И именно наши настойчивые требования тихо сидеть на уроке, тот факт, что у родителей и учителей не хватает времени, чтобы заниматься с ними более интересными заданиями, создает впечатление, будто ширится некая болезнь. Вполне может быть, что ADD окажется собирательным состоянием, куда входят различные

проблемы поведения детей, имеющие разные причины, как биологически predetermined, так и психологические.

При этом между прозаксом и риталином существует тревожная симметрия. Первый широко назначается депрессивным женщинам с дефицитом самооценки; им он дает самоощущение самцов альфа¹, вызванное повышением уровня серотонина. С другой стороны, риталин в основном назначается мальчикам, которые не могут тихо сидеть в классе, поскольку природа их для этого не предназначила. Таким образом два пола исподволь подталкиваются к средней андрогинной личности, довольной собой и социально приемлемой, что в современном американском обществе считается вполне политически корректным результатом.

Миллионы и миллионы людей во всем мире уже принимают эти лекарства, весьма ожесточенно споря насчет долговременных последствий для *телесного здоровья*, но почти оставляя без внимания последствия их для привычного понимания личности и морального поведения.

Не следует упускать из виду и то обстоятельство, что распространению этих лекарств весьма способствуют два фактора: желание со стороны обыкновенных людей как можно больше вывести свое поведение в область медицины и тем снять с себя ответственность за свои действия, и давление сильных экономических интересов. Среди носителей этих интересов – люди, оказывающие социальные услуги, например, учителя и врачи, которые всегда предпочтут прямой биологический путь сложным обходным путям воздействий на поведение, а также фармацевтические компании – изготовители этих лекарств².

II

Бог пока терпеливо наблюдает за всем этим. Но Он вообще не вмешивается в действия человека в этом мире, человек действует свободно. И поскольку жизнь продолжается, Он, вложив в человека частицу себя, создав «по образу и подобию», вероятно, чего-то от него ждет, знает о нём нечто такое, чего тот сам о себе не знает, и что должно было бы внушать ему надежду на благополучное, хотя и абсолютно неведомое развитие событий. Но не способен ли человек, со всем своим биотехнологическим и нейрофармакологическим размахом, эту Божью искру в себе погасить? Создателю об этом конечно же станет известно. Наказывать человека Он по своей благости, вероятно, не станет, но, если бы дальнейшее виделось мрачным, безысходным и бессмысленным – какая мука была бы для Господа дожидаться такого будущего, наблюдая, как человечество по собственной воле к нему продвигается!

Скорее всего, он покинул бы нас, предоставив самим себе и предпринял бы какое-нибудь новое начинание. Миф утверждает, что возможность такую Он уже демонстрировал. Хотя, при всей катастрофичности событий, пока предпочитал оставаться с человеком.

Если бы известна была причина возникновения жизни на Земле, человек уяснил бы для себя и возможную цель земной истории. Но это ему не дано. Однако, если архетип этой жизни тот же, что и у всего живого – от зерна к растению, от клетки к живому существу – то этому процессу свойственна и смерть. Или, в более сложных системах – бесконечное

¹ «Самец альфа» — термин принятый для описания самца обезьян-приматов, который завоевывает в стаде высший статус в иерархии подчинения.

² Вышеизложенные соображения взяты из книги Фрэнсиса Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции». 2002 г.

воспроизводство, если рассматривать этот процесс в неразрывной связи со временем, в какой-то он и находится по определению.

Конечная цель не может находиться во времени. Вернее, она одновременно (непредусмотренный, но неустрашимый каламбур!) существует и во времени, и вне его, в Вечности. Таким образом, цель земной истории в какой-то мере определяется ее концом. Что последует за ним, представить невозможно, пока мы заключены в рамки человеческого – временного – мышления. Это область откровений и последующих их интерпретаций с неизбежным переводом на человеческий и, стало быть, несовершенный язык. Каждый, так сказать, трактует Откровение Св. Иоанна на свой страх и риск.

Наиболее высокой сложности система для нас – это вся земная цивилизация, включая ее, цивилизации, знания о Космосе и микромире. И если представить себе, что в мироздании существуют еще более сложные системы, то даже в следующей по сложности можно рассматривать земную цивилизацию как некий отдельный живой организм, со всеми свойственными ему процессами – от зарождения до угасания. Возможно, и он воспроизводится, но уже в пределах этой новой, более сложной системы, непредставимой пока для нашего сознания хотя бы потому, что наши тысячелетия являются в ней лишь малой единицей времени.

Если все это так, то вполне возможно, что земная история движется к концу. И даже если у человечества есть еще одно-два тысячелетия, их развитие следует рассматривать, как процесс угасания. Найти стимул для такого существования и оправдание ему было бы трудно.

Похожую ситуацию изложили братья Стругацкие в романе «Волны гасят ветер». Там, правда, изображается гипотетическое светлое будущее с мирным глобальным согласием и даже продуктивными или нейтральными отношениями с несколькими иными космическими цивилизациями. Но одно из очередных открытий психофизиологии приводит к обнаружению в человеке так называемой «третьей импульсной системы» – что бы она такое ни означала. Те, кто это открытие совершил, обнаружили также, что вместе с «растормаживанием гипоталамуса» и последующим инициированием этой системы, человек перестает быть собственно человеком и преобразуется в новое высокоразвитое существо с далеко выходящими за пределы нашего разумения физическими и интеллектуальными способностями. Он может сохранять и прежний облик, если того пожелает, но смысла в этом особого не видит, так как земные дела его теперь мало интересуют. Понимая, что это открытие раскалывает человечество на две части – поскольку отнюдь не у всех обнаруживается эта «третья импульсная система», ученые удерживают его до поры до времени втайне, продолжая отбирать и воспитывать «люденов» (так они предварительно себя называют по аналогии с “Homo Ludens” — «Человек играющий»). Но когда удерживать происходящее в секрете становится более невозможным, перед человечеством встает неразрешимая проблема: часть его совершает невероятный скачок в развитии, которому конца пока не видно, так как уже обнаружены четвертая и пятая импульсные системы. А большинству становятся очевидными пределы своих возможностей и, соответственно – отсутствие особых перспектив. В заинтересованном обсуждении этой проблемы со всемирными руководителями, автор открытия и глава института, под шапкой которого совершается процесс инициации «люденов», предварительно извинившись, так отвечает на вопрос, возможно ли сотрудничество: «Медведя можно научить ездить на велосипеде. Но будет ли от этого польза и радость медведю?».

Так чем же жить этому «медведю», когда земная цивилизация окончена, и ждать больше оказывается нечего?

Но это – мирный идиллический вариант, счастливая старость.

Нам размышлять о таких вещах приходится в полном смятении от продолжающегося неблагополучия на Земле. Мы не только не добрались до фундаментальных основ психофизиологии или внеземных цивилизаций, мы и здесь нисколько не приблизились к глобальному устройству. И положительные перспективы в этом отношении становятся все менее и менее убедительными.

Полон ли, пуст ли наш пресловутый стакан, кажется уже не имеет значения. От этих крайностей радостного воодушевления и полной безысходности мы отвыкли. Но, может быть пора задуматься о том, что составляет содержимое его знаменитой половины, вселяющей сдержанный оптимизм одной части человечества и презрительно игнорируемой другой. Заслуживает ли оно звания даже такой тусклой полумеры нашего нынешнего бытия?

Для Освальда Шпенглера очередная эпоха цивилизации, в которую, по его мнению, неизбежно переходит всякая эпоха культуры, началась с наполеоновских войн, и полную гибель предыдущей, культурной эпохи он назначил на 2000 год.

Виктор Тростников ведет отсчет современной эпохи от Фрэнсиса Бэкона, когда по следам Ренессанса и Реформации в основу научного мышления внезапно, надолго и без всяких оснований легла позитивистская и богоборческая идеология.

Николай Бердяев, возлагая исходную вину на истощение христианской идеи в церкви, считал началом агонии текущей эпохи русские социалистические преобразования.

А Фрэнсис Фукуяма утверждает, что поражение идеи коммунизма ознаменовало полную победу либерально-демократического, капиталистического общественного устройства, как наиболее благоприятных условий существования человечества и, тем самым, – конец истории, как завершение поисков такого устройства. При этом он видит в самом этом окончательном и наиболее эффективном общественном устройстве глубокое внутреннее противоречие, никак не обеспечивающее ему бессмертия.

Если оставить в стороне чрезмерную настоятельность, свойственную вообще всем теориям, претендующим на системность и окончательность, и внимательно взглядеться в фактические данные, на которых авторы основывают свои выводы (а отчасти и в некоторые из их интуитивных прозрений), можно согласиться, что они и в самом деле говорят об одном и том же феномене – о нас и о нашем времени.

Многие из них, соблюдая объективную беспристрастность ученых и философов, воздерживаются от этических оценок, предоставляя нам самим – если уж это так нам необходимо – судить, хорошо или плохо то, что события развиваются именно таким образом.

Сравним наиболее выразительные высказывания уважаемых специалистов с нашими собственными впечатлениями от происходящего в последние десятилетия.

III

Может быть, более других вкладывает подобие страсти в свою гипотезу Шпенглер, призывая встретить неизбежное с энтузиазмом. Но это как раз вполне объяснимо, ибо темой его знаменитой книги была попытка изложить абсолютно новую, открытую им «нефилософскую философию» будущего, которая будет последней в истории Европы. Задача менее радикальная, чем самое передовое учение Маркса о закономерности классовой борьбы и будущей победы социализма во всем мире, но гораздо более увлекательная в той ее части, которая касается неизменной цикличности исторических эпох и их полной автономности, то есть – отсутствия линейного исторического прогресса.

Не слишком углубляясь в сложные и развернутые доказательства философа, отметим, что в наиболее общей форме он выделяет два человеческих типа: аполлоновский,

принадлежащий к эпохе культуры, и фаустовский, выражающий сущность эпохи цивилизации, о которой и пойдет дальше речь.

«Век чисто экспансивной деятельности, лишенный высшей художественной и метафизической продуктивности – скажем короче, век иррелигиозности – есть эпоха упадка. Несомненно, - пишет Шпенглер. - Но не мы выбрали это время. Мы не властны изменить того положения, что родились людьми начинающейся зимы полной цивилизации, а не на солнечных высотах зрелой культуры времени Фидия или Моцарта... Кто не сознает этого, не имеет места среди своего поколения. Он останется глупцом, шарлатаном или педантом...».

Еще раз подчеркну, что в мою задачу не входит подтверждение или отрицание закономерности развития событий в интерпретации автора «Заката Европы». Меня интересует описательная сторона эпохи, о которой он говорит следующее:

«...остается... фаустовский человек, каков он есть сейчас, как тип энергичной, повелительной, высокоинтеллектуальной цивилизации. Перед нами просто реальный политик, денежный магнат, большой инженер и организатор».

И далее:

«О великой живописи и музыке среди западноевропейских условий не может быть больше речи... Но я не вижу ущерба от того, если сильное и окрыленное неограниченными надеждами поколение вовремя узнает, что часть этих надежд потерпит крушение. Пусть это будут самые дорогие надежды; кто действительно чего-нибудь стоит, тот перенесет. Действительно, для отдельных лиц может оказаться трагическим, если в решительные годы их охватит уверенность, что в области архитектуры, драмы и живописи для них невозможны никакие завоевания. Таким предстоит погибнуть... Если, под влиянием этой книги, люди нового поколения возьмутся за технику вместо лирики, за мореходное дело вместо живописи, за политику вместо теории познания, они поступят так, как я того желаю, и ничего лучшего нельзя им пожелать».

Таким образом нам, не испытывающим склонности заняться политикой, финансами, производством, торговлей или административной деятельностью, в цивилизации Шпенглера места не остается. То есть, остаются незавидные амплуа глупца, шарлатана или педанта.

Отряхнув прах гегелевской «свободы, как осознанной необходимости», мы уже не так легко подчиняемся очередной идее о неумолимом ходе истории. Хотя приходится признать, что большинство характеристик эпохи, описанной Шпенглером соответствует нынешнему положению вещей.

Но как представляет себе немецкий философ основную массу человечества в этот период, и что являет собой ее общественная деятельность?

«Не может быть никаких сомнений относительно... того «нового человека», на которого с надеждой взирают все упадочные эпохи. Это бесформенно переливающаяся в больших городах чернь вместо народа, лишенная корней городская масса... Это посетитель агоры Александрии и Рима и его «современник», нынешний читатель газет; это «образованный человек», искусственный продукт нивелирующего городского образования... это античный и западный завсегда театра,

увеселительных мест, спорта и злободневной литературы... поздно появляющаяся масса, а отнюдь не «человечество»...

Этому соответствует характерная форма общественной деятельности – диатриба... Она есть одна из форм проявления деятельности всякой цивилизации. Насквозь диалектическая, практическая, плебейская, она заменяет внушительный, имеющий широкое влияние образ великих людей безудержной агитацией людей маленьких, но умных, заменяет идеи – целью, символы – программой... качество заменяется количеством, углубление – распространением... Она проявляется в образе индийской проповеди, античной риторики, западного журнализма. Она обращается к большинству, а не к лучшим. Она оценивает свои средства *числом* успехов. Она заменяет *мышление* старого времени *интеллектуальной мужской проституцией* в речах и писаниях, господствуя во всех залах и на всех площадях мировых городов».

Еще более убедительно описание автором политической организации современного общества, с его парламентской системой, всеобщими выборами, свободой прессы, капиталистическим производством и властью денег:

«Чтобы избирательное право предоставляло приблизительно то, что воображает себе на этот счет идеалист, следовало бы сделать допущение, что никаким организованным руководством, которое бы воздействовало на избирателей в своих интересах и пропорционально деньгам, имеющимся в его распоряжении, здесь и не пахнет. Поскольку же оно есть, за выборами сохраняется значение лишь цензуры, которую осуществляет толпа над единичными организациями, на оформление которых она больше ни малейшего воздействия не оказывает...

...Уже сегодня власть перемещается из парламентов в частные круги, и выборы у нас с той же неуклонностью, как в Риме, вырождаются в комедию. Деньги организуют весь их ход в интересах тех, у кого они имеются.

...В созревшей демократии политика «пробившихся» тождественна не только гешефту, но наиболее грязным видам спекуляций большого города.

...Некогда запрещалось иметь смелость мыслить самостоятельно; теперь это разрешено, однако способность к тому утрачена. Всяк желает думать лишь то, что должен думать, и воспринимает это как свою свободу.

И вот еще одна сторона этой поздней свободы: всякому позволено говорить что хочет; однако пресса также свободна выбирать, обращать ей внимание на это или нет. Она способна приговорить к смерти всякую «истину», если не возьмет на себя сообщение ее миру – поистине жуткая цензура молчания, которая тем более всеильна, что рабская толпа читателей газет ее наличия абсолютно не замечает.

...Демократия – это полное уравнивание денег и политической власти».

Но существующее положение вещей – всего лишь этап в развитии цивилизации, которой еще предстоит достичь своего расцвета и только затем погибнуть. Дальнейшее развитие событий Шпенглер видит следующим образом:

«Частные силы экономики желают торных дорог для завоевания ими колоссальных имуществ. Никакое законодательство не должно стоять у них на пути. Они желают создавать законы в своих интересах и с этой целью пользуются созданным ими же самими орудием – демократией, оплаченной партией. Чтобы отбить этот натиск, право нуждается в благородной традиции, в честолюбии крепких родов, находящем удовлетворение не в накоплении богатств, но в решении задач

подлинного героизма, за пределами всяким денежным выгодам. Силу может ниспровергнуть только другая сила, а не принцип, и перед лицом денег никакой иной силы не существует. Деньги будут преодолены и упразднены только кровью».

Признаки этой силы, которую автор характеризует, как новый «цезаризм», он усматривает в следующем:

«...Вследствие того, что рассеялись все грезы насчет какой бы то ни было возможности улучшения действительности с помощью идей какого-нибудь Зенона или Маркса, и люди выучились-таки тому, что в сфере действительности одна воля к власти может быть ниспровергнута лишь другой такой же... в конце концов пробуждается глубокая страсть ко всему, что еще живет старинной, благородной традицией... Возникает надежда на спасение... связываемое с тоном чести и рыцарственности, внутреннего аристократизма, самоотверженности и долга... Все, что уцелело для будущего от династической традиции, от древней знати, что сохранилось от благородных, возвышающихся над деньгами нравов, все, что достаточно сильно само по себе, чтобы быть слугой государства (при этом обладая неограниченной властью) в тяжелой, полной самоотверженности и попечения работе... – все это вдруг делается теперь точкой схождения колоссальных жизненных сил. Цезаризм растет на почве демократии, однако его корни глубоко погружаются в основания крови и традиции... Именно поэтому ныне разворачивается решающая схватка между демократией и цезаризмом, между ведущими силами диктаторской капиталистической экономики и чисто политической волей Цезарей к порядку».

Этих благородных цезарей с высоким чувством чести и рыцарственности, внутреннего аристократизма, самоотверженности и долга мы давно уже не видим, но, возможно, в период написания книги в начале XX века представления о них могли еще и не быть чистой фантазией.

Естественно ожидать, что новая теория обладает прогностическим аппаратом и дает автору возможность заглянуть в еще более отдаленное будущее, когда окончательно погибшую цивилизацию сменит новая зарождающаяся культура. К сожалению, эта область интересов философа менее всего, и в его работе можно отыскать только два упоминания об истоках будущего духовного рассвета. Одно является всего лишь аналогией с соответствующей сменой эпох в прошлом, когда погибающую римскую цивилизацию окончательно уничтожило восточное христианство. Второе исходит из представления о полном истощении всех теорий общественного устройства и вводит туманное представление о «второй религиозности»:

«Никто не должен обманываться насчет того, что эпоха теории подходит к своему концу также и для нас... как вера в руссоистские права человека утратила свою силу что-то около 1848 г, так и вера в Маркса потускнела с мировой войной... Такая вера была отличием дедов; для внуков она является доказательством провинциальности. Вместо нее из душевной потребности и мук совести уже сегодня завязывается новое, отрешенное благочестие. Оно отказывается от учреждения новой посюсторонности, ищет вместо слепящих понятий тайну и в конце концов в глубинах второй религиозности ее обретет».

IV

Более подробную интерпретацию упомянутой исторической аналогии мы находим в книге В. Тростникова «Мысли перед рассветом». Но для того, чтобы полностью ее себе уяснить, необходимо в самых общих чертах познакомиться с его концепцией исторического развития.

В исследовании Тростникова все внимание сосредоточено на удивительном пути, который совершило научное мышление. Начав с абсолютно атеистической установки, нисколько не обоснованной научными экспериментами, в то время еще не существовавшими, наука, вопреки собственному идеологическому канону, вынуждена была прийти к признанию реальности, существующей вне материального мира.

Автор книги напоминает, что начало систематическому развитию естественных наук, как мы себе их представляем, положил произошедший 300 лет назад «великий перелом», который иногда называют «бэконианской революцией». В основу этого развития легла позитивистская, богоборческая установка, полностью подчинившая себе все существовавшие и вновь возникавшие отрасли. Эта установка не только не предполагала существования какой-либо силы вне пределов доступной нашему восприятию Вселенной, но и самую Вселенную рассматривало, как самодостаточный и саморазвивающийся механизм – может быть невероятно сложный, но вполне доступный в будущем исчерпывающему познанию.

Однако, вопреки этому всеобщему и сильно укрепившемуся представлению, к началу XX века экспериментальные исследования вынудили физиков, математиков, а затем и астрономов признать существование некоего невидимого и непознаваемого слоя бытия, определяющего, тем не менее, поведение всего материального мира.

Открытия Теории квантов и Общей теории относительности и невозможность свести эти теории в единую теорию поля отмечают, по мнению Тростникова, пределы возможностей традиционной позитивистской физики. Затем в неразрешимые проблемы, связанные с возникновением и исчезновением материи, уткнулась космология. К похожим по неразрешимости проблемам вплотную приблизились биология, психология и популяционные исследования.

Тростников выстраивает свою собственную теорию устройства Вселенной, предполагающую существование нескольких уровней нерасчлененной онтологии, и невидимого Наблюдателя, которые с помощью своеобразной обратной связи создают и корректируют неорганический и органический мир, человеческое мышление и популяционные преобразования.

В этой картине материальная Вселенная, во многом подчиняющаяся определенным самостоятельным программам развития, алгоритмам, является в то же время открытой системой, способной воспринимать корректирующее влияние невидимых слоев и только благодаря этому развивающейся.

Упомянутый алгоритм играет в этой Вселенной двойную роль. На определенном раннем этапе он является необходимым для создания всевозможных систем, включая биологические и популяционные. Но затем, на достаточном уровне усложненности, он приобретает жесткость и механичность, затрудняет природе и организмам получение свежей жизнетворной информации из высших слоев и в результате, предоставленный самому себе, приводит к разрушению и смерти.

Опять-таки, отказываясь выносить суждение об этой теории в целом, я хочу

сосредоточить внимание на том ее аспекте, который непосредственно относится к нашей теме.

Перечислив широко известные признаки, позволяющие уподоблять нашу эпоху эпохе римских цезарей, такие как распространение духа потребительства, стремление к телесным удовольствиям, тягу к массовым зрелищам, цинизм, деячество и прагматизм, автор пишет:

«Современные историки... обязаны вскрыть причины падения и исчезновения Империи, а причинами, по их мнению, могут быть только «реальные» факторы. Поэтому они создали представление о римском государстве как о «спруте», высасывавшем соки из огромной территории и восстановившем против себя многие народы, что и привело его к разрушению. Иногда в качестве непосредственной причины гибели Рима называют распространение христианства, а это явление объявляют следствием отчаяния и безвыходности положения задавленных железной пятой Империи народных масс.

Эта концепция отчаяния, как она ни соблазнительна, несовместима с фактами. Мы совершенно не вправе говорить о «задавленности» народных масс Римской Империи, где средний уровень жизни был намного выше, чем в других странах. Рим был в первую очередь великим строителем, и он сумел организовать материальную сторону жизни населения по тем временам очень хорошо. Империя была эффективной... В ней были прекрасные дороги, налаженная внутренняя и внешняя торговля, почтовая связь, развитые ремесла, мореплавание. Области, попадавшие в состав Империи, благоустраивались, и материальное благополучие в них возрастало. Уже в самом начале третьего века всем провинциям были предоставлены права римского гражданства... Самими императорами часто становились провинциалы, а однажды им сделался сын раба. На большой высоте находилась юстиция, и даже по сегодняшним понятиям она была демократичной.

...Гражданские войны были, наконец, потушены, внешняя война завершена, безумство оружия всюду приглушено, законам возвращена сила, судьям – авторитет, сенату – величие. К началу христианской эры, сменившей эру языческого Рима, все улеглось и наладилось, и достигший небывалого совершенства аппарат Империи начал свою спокойную, не подверженную угрозе внешних помех работу. Казалось, что этот механизм будет функционировать вечно. В нем все было предусмотрено, бюрократические процедуры доведены до автоматизма, законодательство отработано, учтены даже такие тонкости, как национальные особенности провинций и привычка разных племен к своим собственным религиозным культам. Включился грандиозный алгоритм, на изобретение и усовершенствование которого римляне затратили столько сил и времени, считая это своей исторической миссией; вступил в действие синтаксис.

... И старая, выраженная в мифе, и новая, полученная наукой мудрость согласно утверждают: синтаксис – это смерть».

Ранее, в другом контексте Тростников уподобляет алгоритм традиционному религиозному представлению о Дьяволе, падшем ангеле, который, согласно Гёте, является «силы той частицей, что сделать зло желая, делает добро», и в крайней своей ипостаси «взбесившегося алгоритма» – настоящего Беса – уничтожает себя и то, что его окружает. Использует он это сравнение и здесь:

«Алгоритмическая, слепая, единообразная работа означает отсоединение от творческого начала, только и дающего жизнь всему на свете, т.е. превращение в труп.

Дьявол повел Рим к гибели – на то он и дьявол. Но в государственный механизм, движимый зацикленным алгоритмом были включены люди. Люди-то оставались живыми, и в этих микрокосмах продолжали присутствовать все уровни Бытия, продолжал жить Бог, без которого нельзя ни мыслить, ни ощущать. И людям империи *стало тошно жить на свете*. Тоской, охлаждением ко вчера еще притягательным соблазнам, нарастающим ощущением пустоты и бессодержательности жизни, отвращением ко всему общепринятому только и объясняются экстравагантные поступки сектантов, искавших мученической смерти, и удивительные, как бы беспричинные самоубийства патрициев. Пройди еще столетия в монотонном вращении механизма империи, и жизнь опустылела бы всем без исключения. Алгоритм погубил бы не только себя, но и европейское человечество.

...Но, к счастью, есть в жизни человеческого общества такие силы, которые и не снились нашей плоскостной социологии. Бог не оставил гибнущее человечество и явился ему, придав могучий импульс его духовным стремлениям и воплотив их в конкретную форму христианства. Он указал человечеству радостный смысл жизни, к которому потянулось все живое и чуткое.

Все изменилось в Европе, все прежние цели и помыслы были заброшены, потеряли всякое значение. Жизнь континента, потрясенная Великим Богоявлением, стала переходить на новые рельсы. И этот гигантский поворот еще накануне нельзя было предвидеть, ибо для него не было никаких видимых причин, ибо его причины лежали в ненаблюдаемом слое».

Нечто похожее предвидит автор книги и в нашем будущем:

«Так же, как ровно 2000 лет назад, когда Октавиан Август завершил создание Империи, наш мир превратился в алгоритм. И «общество потребления», и социалистическое общество (книга написана в 78 году) – огромные механизмы, в которых человек принужден совершать точно предписанный ему круговорот... А уже умирают реки, скоро умрет океан, задохнется под пятой идеологии искусство, умрет любовь, превратившись в порнографию. Но тогда ведь умрут и люди... эту угрозу... сейчас... понимают или чувствуют уже миллионы людей. И наиболее активные из них стремятся предпринять что-то для предотвращения гибели человеческого рода. Но вместо того, чтобы призвать людей отречься от дьявола и вернуться к Богу, они предлагают заменить одряхлевшего дьявола более жизнеспособным...

И дело даже не в том, что нависла угроза над окружающей средой, и неизвестно, как ее устранить; что скоро кончится нефть... и непонятно, как тогда быть со всеми автомобилями и реактивными самолетами; что не может бесконечно длиться противоестественное положение, когда рабочие вынуждают предпринимателей разрешать им производить товары, приносящие прибыль, а реклама, пользуясь современными достижениями экспериментальной психологии, искусственно создает у людей потребности, чтобы производству было что удовлетворять. Дело и не в том, что двадцатый век не выполнил ни одного обещания об урегулировании национальных и общественных конфликтов, и что эти конфликты стали много резче и ожесточеннее, чем в прошлом столетии...

Главное состоит в том, что стало тоскливо, бессмысленно, безрадостно жить на нашей планете, заваленной вещами. Главное в том, что каждый из нас уже не завидует поколению своих детей, а, глядя на них, со страхом спрашивает себя: успеют ли проскочить, не на них ли все кончится?

...Самое главное сейчас для нас – понять. Не надо устраивать революции и переворотов – довольно пролито на земле крови... Надо понять, что дело не в том, какого цвета дьявол, а в том, что он – дьявол, отсутствие Бога.

Две тысячи лет назад Европа была в лапах дьявола. Что могло противостоять страшной силе Рима? Люди противопоставили ей понимание радостного смысла жизни, и гигантская империя рухнула безо всяких восстаний и революций.

Современный дьявол создал *всепланетное человечество* (курсив мой, АК), и в этом заключается великий замысел Бога, до времени скрытый от нас. Теперь мы должны ждать нового Богоявления.

... И тогда произойдет то, что мы в своем самоуверенном невежестве отвергали как невозможное, но что есть, на самом деле, нормальный процесс: прорыв онтологии в наблюдаемое, семантики в синтаксис; акт осмысления механически развившейся структуры, достигшей критической фазы; явление, аналогичное тем, какие происходят во всех сферах бытия и предохраняют физическую, живую и мыслящую реальность от разрушения и самоуничтожения».

Дважды в последних цитатах автор пользуется выражением «радостный смысл жизни». Отдаленный намек на это ощущение можно усмотреть и в «отрешенном благочестии» Шпенглера, которому просто не свойственно экстатическое мышление. Оба эти выражения пока мало что нам говорят, но запомним их, чтобы через некоторое время к ним вернуться.

V

Сходные предчувствия одолевали и Н. Бердяева, называвшего современную эпоху трагической и безрадостной, «возвращением к раннему средневековью».

«...мы стоим на грани агонизирующей старой эпохи и возникновения новой эпохи откровения, нового эона...»

Бердяев писал свои работы, когда коммунисты в России еще строили свое государство, и посему в критике своей обрушивался и на социализм, и на западные демократии. Нас сейчас, естественно, может интересовать только то, что относится к последним.

«Демократия остается равнодушной к добру и злу. Она – терпима, потому что индифферентна, потому что потеряла веру в истину... Демократия не знает истины, и потому она предоставляет раскрытие истины решению большинства голосов... Она хочет политически устроить человеческое общество так, как будто Истины не существовало бы, это основное предположение чистой демократии.

...Новейшие демократии... свободолюбивы лишь в смысле равнодушия к добру и злу, к истине и лжи.

... Наступает социально-политическая старость... Мы вступаем в эпоху убийственных разоблачений, когда придется жить разоблаченными реальностями. В этом значении нашей трагической и безрадостной эпохи.

... Подводятся итоги ряду столетий, в течение которых происходило движение от центра и внутреннего ядра жизни к периферии, на поверхность жизни, к внешней общественности. И чем более общественность делается пустой и бессодержательной, тем сильнее становится диктатура общественности над всей жизнью человеческой.

Политика обвила человеческую жизнь, как паразитарное образование, высасывающее у нее кровь. Большая часть политической и общественной жизни современного человечества не есть реальная онтологическая жизнь, это фиктивная, иллюзорная жизнь. Борьба партий, парламенты, митинги, газеты, программы и платформы, агитации и демонстрации, борьба за власть – все это не настоящая жизнь, не имеет отношения к содержанию и целям жизни, во всем этом трудно добраться до онтологического ядра. В мире должна начаться великая реакция или революция против господства внешней общественности и внешней политики во имя поворота к внутренней духовной жизни, не только личной, но и сверхличной духовной жизни, во имя содержания и цели жизни. Людям, находящимся во власти внешнего, это должно казаться призывом к уходу из жизни...».

Мы отложим пока ту часть концепции русского философа, которая касается дальнейшего развития событий, и вернемся к ней чуть позднее. А пока обратимся к упомянутой вначале книге Фрэнсиса Фукуямы, который гораздо подробнее рассматривает особенности современных либеральных демократий.

VI

В основе идеи автора о либерально-демократическом обществе, как об окончательном итоге развития общественного устройства, лежит платоновское представление о трех составных частях души человека: желающей, разумной и той, которую греческий философ называет «тимос». Последняя представляет собой довольно сложное понятие, но одним из переводов этого слова является «духовность».

«Большая часть поведения человека, - пишет Фукуяма, - может быть описана комбинацией первых двух составляющих, желания и рассудка: желание подвигает людей искать нечто вне себя самих, рассудок подсказывает лучшие способы это осуществить.

... Но кроме того, люди ищут признания своих достоинств или тех людей, предметов или принципов, в которые они эти достоинства вложили... Жажда признания и сопутствующие ей эмоции гнева, стыда и гордости – это важнейшие для политической жизни характеристики. Согласно Гегелю, именно они и движут исторический процесс».

Далее автор отмечает, что демократию почти никогда не выбирают по экономическим причинам: «Первые большие демократические революции, Американская и Французская, произошли тогда, когда промышленная революция только шла в Англии, и обе страны еще не модернизировались в том смысле, в котором мы теперь понимаем это слово. Поэтому выбор в пользу прав человека не был обусловлен процессом индустриализации... во все века находились люди, которые выбирали не-экономический поступок, рискуя жизнью и средствами к существованию в борьбе за демократические права. Нет демократии без демократов, то есть без особого Человека Демократического».

И таким образом, либеральное общество есть не только взаимное и равноправное соглашение между гражданами не посягать на жизнь и собственность друг друга, но и соглашение между гражданами о взаимном признании друг друга, то есть признании на всеобщей основе, когда достоинство каждой личности как свободной и самостоятельной признается всеми остальными: «Когда мы выбираем либеральную демократию, для нас дело

не только в свободе делать деньги и удовлетворять желаемую часть нашей души. Важнее и в конечном счете более способствует удовлетворению то, что либеральная демократия обеспечивает нам признание нашего достоинства».

Но в этом обществе возникает своеобразное противоречие между свободой и равенством, и, как утверждает Фукуяма, любовь к равенству в демократических странах – более глубокая и постоянная страсть, чем любовь к свободе. Равенство, в свою очередь, реализуется с помощью системы прав человека и, таким образом, приводит к вопросу, чем вызваны эти права. Иными словами – что есть человек. А тут, по мнению автора книги, человеческая мысль оказалась в интеллектуальном тупике, в который ее загнал современный релятивизм. Неспособные ответить на этот вопрос, либерально демократические страны выбирают путь наименьшего сопротивления:

«Сегодня мы прошли путь к тому, что по праву считается чистой формой либерализма; Верховный суд США решил, что даже не уточняющее вероисповедание определение «вера в Бога» может оскорбить атеистов, а потому в общественных школах недопустимо... В интеллектуальном климате, ослабляющем возможность веры в какую-то одну доктрину из-за более важной обязанности быть открытым всем верованиям и «системам ценностей» мира, нас не должно удивлять, что сила общественной жизни в Америке идет на спад. Этот спад произошел не вопреки либеральным принципам, но благодаря им.

...Закат общественной жизни предполагает, что в будущем мы рискуем стать безмятежными и самопоглощёнными последними людьми, лишёнными тимотических стремлений к высшим целям и жаждущими только личного комфорта.

... Жизнь последнего человека – это жизнь физической безопасности и материального изобилия – именно то, что так любят обещать своему электорату западные политики».

Американский историк приводит далее слова Ницше (который первым ввел понятие «последнего человека», в качестве противоположности гегелевскому «первому человеку», испытывавшему острую нужду не только в признании, но и в признании его *человеком*) о том, что живое существо не может быть здоровым, сильным или продуктивным, если не живет в определенных горизонтах, то есть системе ценностей и верований, принимаемых абсолютно и некритично и утверждает, что наше осознание истории делает такое пристрастие невозможным:

«Ибо история учит нас, что в прошлом таких горизонтов было немерено – цивилизации, религии, этические кодексы, «системы ценностей». Люди, которые в них жили, лишённые нашего современного осознания истории, верили, что их горизонты – единственно возможные. Те же, кто вошел в этот процесс поздно, кто пережил прежние эпохи человечества, столь некритичными быть не могут. Современное образование, универсальное образование, без которого ни одно общество не может подготовиться к жизни в современном экономическом мире, освобождает людей от приверженности традиции и авторитету. Люди начинают осознавать, что их горизонт – всего лишь один из горизонтов, не твердая земля, а мираж, который исчезает, если подойти ближе, открывая за собой очередной горизонт. Вот почему современный человек есть последний человек: он изнурён историческим опытом и лишен иллюзии возможности прямого испытания ценностей».

Это обстоятельство и лежит в основе либерально-демократического устройства.

«Демократическое общество... практикует веру в равенство всех образов жизни и всех ценностей... Оно не говорит своим гражданам, как следует жить или как стать счастливыми, доблестными или великими. Вместо этого оно культивирует достоинство толерантности, которое становится в этом обществе главным. А если люди неспособны утверждать, что некий конкретный образ жизни выше другого, они скатываются к утверждению самой жизни, то есть тела, его потребностей и страхов... И не случайно, что люди в демократических странах заняты прежде всего материальными приобретениями и живут в экономическом мире, созданном для удовлетворения бесчисленных мелких потребностей тела».

Однако, отказываясь размышлять о третьей части души человека – тимосе или, в более широком смысле духовных потребностей – мегалотимии, современное демократическое общество роет себе яму.

«Разница между демократическим обществом и предшествовавшим ему аристократическим состоит не в том, что мегалотимия изгнана из жизни, но в том, что она загнана, так сказать, в подполье, - продолжает Фрэнсис Фукуяма. - Демократическое общество привержено утверждению, что все люди созданы равными, и господствующий Этос для них – этос равенства. Хотя никому не запрещено законом хотеть быть признанным выше других, никого к этому и не поощряют. Таким образом, уцелевшие в современном обществе проявления мегалотимии существуют в некоторых натянутых отношениях с публично сформулированными идеалами общества.

... Есть подозрение, что некоторые люди не будут удовлетворены пока не проявят себя тем самым актом, который составлял человеческую сущность в начале истории: они захотят пойти на смертельный риск в битве и тем без тени сомнения доказать себе и своим братьям, что они свободны. Они намеренно будут искать дискомфорта и возможности принести себя в жертву, потому что боль и страдание будут единственным способом определенно продемонстрировать, что они могут думать о себе хорошо, что они остаются людьми.

... Опыт подсказывает, что если люди не могут бороться за правое дело, потому что это правое дело уже победило в предыдущих поколениях, они будут бороться против правого дела. Иными словами, они пойдут на борьбу от определенной скуки, потому что не могут себе представить жизни в мире без борьбы. И если львиная доля мира, в котором они живут, будет характеризоваться мирными и процветающими либеральными демократиями, они будут бороться против мира и процветания – и против демократии.

... Вопрос не в неполноте демократической революции, то есть, не в том, что блага свободы и равенства не были распространены на всех людей.

Неудовлетворенность возникает именно там, где триумф демократии наиболее полон: это неудовлетворенность свободой и равенством».

Эта мысль Фукуямы некоторым образом перекликается с предвидением Шпенглера о новой эпохе воинственного цезаризма, равно как и с ощущением пустоты жизни в эпоху римских цезарей, о котором мы читали у Тростникова. А вывод американского философа

возвращает нас к нашей основной теме, к вопросу о том, как и кем ощущает себя человек в современном мире:

«...по-видимому, основной угрозой демократии будет наше непонимание того, что на самом деле поставлено на карту. Потому что, хотя современные общества развились до демократических, современная мысль зашла в тупик и не может прийти к согласию о том, что составляет суть человека и его специфическое достоинство».

VI

Можно соглашаться с концепциями перечисленных авторов или спорить с ними, возражать некоторым аспектам или добавлять к ним наши собственные наблюдения, но похоже, что состояние современного мира в целом они описывают довольно всесторонне.

Ну что ж, подведём предварительные итоги.

Вот уже почти в течение столетия мыслители самых разных стран, мировоззрений и поколений непрерывно свидетельствуют о фундаментальном неблагополучии нашего времени. И ни глобальные катастрофы, подобные Второй мировой войне, ни радикальные общественно-политические перемены, такие как окончание Холодной войны и крах коммунизма, ни относительное международное равновесие, ни появление в мире мощных тенденций, подобных экономической глобализации, информационной революции или исламскому экстремизму, отнюдь не поколебали этого представления. А явное отсутствие новых идей по поводу исторического развития общества лишь усиливают ощущение тупика.

Предполагаемый выход из этого удручающего положения, к которому склоняются все авторы, сводится к необходимости некоего духовного переосмысления человеком своего места в мироздании и своих целей. Перечислим вкратце их предложения.

Пробуждение ото сна — такую метафору выбирает бывший математик, а ныне христианский философ Виктор Тростников. Он призывает готовиться к новому прорыву невидимого онтологического слоя в наблюдаемую реальность, помогая этому событию наступить, совершая духовное усилие и ставя себя в иную перспективу по отношению к мирозданию, тем самым призывая и вызывая этот прорыв.

Освальд Шпенглер, настаивая на обреченности последней по времени культурной эпохи и утверждая правомочность столь же обреченной эпохи цивилизации, в которой мы живем, тем не менее, тоже предвидит наступление некоего «отрешенного благочестия», возникающего из душевной потребности и мук совести, и поиск человечеством тайны, которая будет обретена во «второй религиозности».

Даже атеист Фрэнсис Фукуяма признает бессилие современного мышления в определении того, что составляет суть человека, и, вместе с тем — необходимость это определить. В качестве направления поисков он указывает на «тимос» — загадочную третью составляющую человеческой души, которая существует вопреки сфере материальных желаний и разума и предполагает неукротимую тягу человека к обретению собственного человеческого достоинства.

Правда, этот учёный видит в будущем лишь одну возможность выброса на поверхность мегалотимии, подавленной современным общественным устройством — экстремальную и патологическую. По-видимому, он имеет в виду те же глубокие «цезаристские» силы, способные, по мнению Шпенглера устранить власть денег и привести к концу период цивилизации. Здесь еще не идет речь о новой культуре. Но борьба за призвание — не чисто человеческое и даже, как считал Гегель, определяющее суть человека явление. Уже в следующей своей работе Фукуяма утверждает, что Гегель ошибся — это

стремление ярко проявляется и у животных. Американский историк просто не считает необходимым в рамках своей работы обсуждать расширенное представление о тимосе – сложном понятии, в которое его автор, Платон вкладывал не только борьбу за признание, но и вообще высшие духовные потребности человека.

И наконец, Николай Бердяев прямо говорит о неизбежном наступлении новой эпохи Откровения, о духовном просветлении и преображении человека.

Удержать в сознании подобные представления очень трудно. Прежде всего из-за долгой отвычки. Но и потому, что сознание наше слишком отяжелело. Оно подавлено созерцанием могучих сил, правящих ныне миром.

Но давайте попробуем все же совершить еще одну попытку, воспользовавшись миропониманием Бердяева – религиозного философа, который, благодаря упорному и сосредоточенному осмыслению этой сферы, умеет более или менее доступным образом формулировать все, что к ней относится. Он же, кстати, признавая неспособность слова полностью выразить непостижимое, утверждает, что, поскольку в человеческой речи, хотя и ущербно, но присутствует Логос (Мудрость), в мысли и языке возможно движение к пределу, к тайне.

«...Перед излияниями света неизбежно сгущение тьмы, - пишет он. - Перед новым напряжением духовности возможно видимое ослабление духовности. Перед новой богочеловечностью возможны взрывы бесчеловечности, обозначающие богооставленность человека.

...Когда все ощущается изжитым и исчерпанным, когда почва так разрыхляется, как в нашу эпоху, когда нет уже надежд и иллюзий, когда все разоблачено и избличено, тогда почва готова для религиозного движения в мире. Так всегда бывало.

... В истории есть чудесное. Это чудесное не объяснимо из исторической эволюции и исторической закономерности; оно есть прорыв событий экзистенциального времени во время историческое, которое не вмещает этих событий вполне. Откровение Бога в истории и есть это вторжение событий экзистенциального времени».

Но возможно ли в принципе явление в мире непостижимого, внеположного по отношению к нему Бога? Оказывается, в некотором смысле – возможно:

«Бог, открывающийся миру и человеку, не есть Абсолютное: Абсолютное не может иметь отношения к чему-либо, Абсолютное есть невыразимая Тайна. Божество (Gottheit) есть невыразимая Тайна, в которой, верим, все разрешится. Но Бог (Gott) есть Тайна, себя приоткрывающая.

Мы говорим не о разных богах, но об одном и том же Боге прикрывающем себя и раскрывающем себя в разных ступенях.

...Активное отношение к концу истории предполагает более или менее длительный период изменения структуры сознания, духовную и социальную революцию еще в историческом времени, которая не может совершиться одними человеческими силами, но не может совершиться и без человеческих сил, пассивным ожиданием. Излияние Духа, меняющего мир, есть активность духа и в самом человеке».

Ближе подойти к Тайне, пользуясь нашим языком, пожалуй, не удастся.

Но проклятое «изменение структуры сознания» и столь же каверзная «активность духа в человеке» продолжают оставаться абстракциями. Всё-таки для усвоения подобных категорий нужно располагать какими-то сопоставимыми с ними ощущениями в нашей повседневной практике.

Случаи мгновенного просветления, озарения знакомы каждому – пусть они связаны и с самыми незначительными мыслями и событиями. И совершенно очевидно, что они приходят откуда-то извне, как подарок. Они приносят с собой чувство легкости, просиянности, – радости, в конце концов. Но что приводит нас к этому ощущению и как его удержать, мы не знаем. Так как же изменить структуру сознания, чтобы оно стало более восприимчивым к таким дарам?

Вернёмся на минуту к самому этому сознанию и проверим ещё раз – не смущает ли нас что-то в вышеизложенных описаниях современности. Не упущена ли уважаемыми специалистами какая-то сугубо человеческая подробность, нечто неотделимое от человеческой природы, может быть присутствующее, может быть утраченное сегодня, но явно мешающее открыто и безоговорочно принять представленный образ эпохи.

Этот недостающий элемент предоставляет в наше распоряжение историк культуры Иохан Хейзинга. Причем свою знаменитую работу “*Homo Ludens*” («Человек играющий»), название которой использовали в научно-фантастическом романе братья Стругацкие, он написал в 1938 году, когда непосредственное соседство с Германией, где уже набрал полную силу нацизм, и предчувствие надвигающейся мировой катастрофы вроде бы и не способствовали интересу к столь легкомысленной теме. Сам Хейзинга за три года до того в своей статье «В тени будущего» предостерегал мировое сообщество о глубочайшем кризисе современной цивилизации, описывая его примерно в тех же категориях, как и цитированные здесь авторы.

Но, как утверждает нидерландский ученый, значение игры в человеческой жизни выходит далеко за пределы частного культурного феномена, и игровое начало – это не просто одна из форм поведения человека, а структурная основа человеческих действий вообще.

«Игра старше культуры, ибо понятие культуры, сколь неудовлетворительно его ни описывали бы, в любом случае предполагает человеческое сообщество, тогда как животные вовсе не дожидались появления человека, чтобы он научил их играть, - пишет Хейзинга. - Животные играют – точно так же, как люди. Все основные черты игры уже воплощены в играх животных. Стоит лишь понаблюдать, как резвятся щенята, чтобы в их веселой возне заметить все эти особенности. Они побуждают друг друга к игре посредством особого рода церемониала поз и движений. Они соблюдают правило не прокусить друг другу ухо. Они притворяются, что до крайности обозлены. И самое главное: все это они явно воспринимают как в высшей степени шуточное занятие и испытывают при этом огромное удовольствие.

...Здесь нам сразу же придется сделать одно очень важное замечание. Уже в своих наипростейших формах, в том числе и в жизни животных, игра есть нечто большее, чем чисто физиологическое явление либо физиологически обусловленная психическая реакция. И, как таковая, игра переходит границы чисто биологической или, по крайней мере, чисто физической деятельности. Игра – это функция, которая исполнена смысла. В игре вместе с тем играет нечто выходящее за пределы непосредственного стремления к поддержанию жизни, нечто, вносящее смысл в происходящее действие. Всякая игра что-то значит. Назвать активное начало, которое придает игре ее сущность, духом – было бы слишком, назвать же его инстинктом –

было бы пустым звуком. Как бы мы его ни рассматривали, в любом случае эта целенаправленность игры являет на свет некую нематериальную стихию, включенную в самое сущность игры».

Чтобы подтвердить свой тезис, автор перечисляет далее способы, которыми современная психология и физиология пытаются объяснить место игры в жизненном процессе, такие как врожденный инстинкт подражания, потребность в разрядке, в упражнениях на пороге серьезной деятельности, невинное избавление от опасных влечений и так далее и продолжает:

«Эти объяснения, оперируя мерилami экспериментальной науки, спешат проникнуть в самое тело игры, ничуть не проявляя ни малейшего внимания прежде всего к глубоким эстетическим особенностям игры. Собственно говоря, именно изначальные качества игры, как правило, ускользают от описаний. Вопреки любому из предлагаемых объяснений остается правомочным вопрос: «Хорошо, но в чем же, собственно, сама суть игры? Почему ребенок визжит от восторга? Почему игрок забывает себя от страсти? Почему спортивные состязания приводят в неистовство многотысячные толпы народа?» Накал игры не объяснить никаким биологическим анализом. Но именно в этом накале, в этой способности приводить в иступление состоит ее сущность, ее исконное свойство. Логика рассудка, казалось бы, говорит нам, что Природа могла бы дать своим отпрыскам такие полезные функции, как высвобождение избыточной энергии, расслабление после затраты сил, приготовление к суровым требованиям жизни и компенсация неосуществленных желаний, всего-навсего в виде чисто механических упражнений и реакций. Но нет, она дала нам Игру, с ее напряжением, ее радостью, ее потехой.

... Реальность, именуемая Игрой, осязаемая каждым, простирается нераздельно и на животный мир, и на мир человеческий. Следовательно, она не может быть обоснована никакими рациональными связями, ибо укорененность в рассудке означала бы, что пределы ее – мир человеческий. Существование игры не связано ни с какой-либо ступенью культуры, ни с какой-либо формой мировоззрения... Можно отрицать почти любую абстракцию: право, красоту, истину, добро, дух, Бога. Можно отрицать серьезность. Игру – нельзя.

Но вместе с игрою, хотят того или нет, признают и дух. Ибо игра, какова бы ни была ее сущность, не есть нечто материальное... С точки зрения мира, мыслимого как детерминированный, то есть как чисто силовое взаимодействие, игра есть в полном смысле слова... нечто избыточное. Лишь через вторжение духа, который сводит на нет эту безусловную детерминированность, наличие игры становится возможным, мыслимым, постижимым. Существование игры непрерывно утверждает, и именно в высшем смысле, сверхлогический характер нашего положения в космосе. Животные могут играть, следовательно, они суть уже нечто большее, нежели механизмы. Мы играем и знаем, что мы играем, следовательно, мы суть нечто большее, нежели всего только разумные существа, ибо игра неразумна».

Следует отметить, что игру, как проявление жизни в противовес алгоритму, приводит в пример и В. Тростников в упомянутой выше работе.

Таким образом, получается, что игровое начало лежит в самой основе мироздания и выполняет одну из важнейших функций в человеческой жизни. Об этом же свидетельствовал М. Бахтин в своем классическом труде о смеховой культуре, ибо у карнавала, как и вообще у всякого празднества, и у игры – одна природа.

«...основное карнавальное ядро этой культуры... находится на границах искусства и самой жизни. В сущности, это – сама жизнь, но оформленная особым, игровым образом.

... Празднество всегда имело существенное и глубокое смысловое, мирозерцательное содержание. Никакое «упражнение» в организации и усовершенствовании общественно-трудового процесса, никакая «игра в труд» и никакой отдых или передышка в труде сами по себе никогда не могут стать *праздничными*. Чтобы они стали праздничными, к ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно-идеологической. Они должны получить санкцию не из мира средств и необходимых условий, а из мира высших целей человеческого существования, то есть из мира идеалов». (М. Бахтин. «Творчество Рабле и смеховая культура средневековья»).

Но вернемся к «Человеку играющему», где в последних главах автор рассматривает состояние игрового начала в наши дни.

«XIX в., казалось бы, оставляет не много места для игровой функции как фактора в культурном процессе. Тенденции, которые, по-видимому, ее исключают, получают перевес все больше и больше. Уже в XVIII в. трезвое, прозаическое понятие пользы (смертельное для идеи Барокко) и буржуазные идеалы благополучия стали овладевать духом общества. К концу того же столетия промышленный переворот с его постоянно растущей технической эффективностью еще более усиливает эти тенденции. Труд и производство продукции становятся идеалом и вскоре превращаются в подобие идола. Европа облачается в рабочее платье. Общественная польза, тяга к образованию, научная оценка доминируют в культурном процессе.

... Великие течения мысли этого времени почти все были направлены непосредственно против игрового фактора в общественной жизни. Ни либерализм, ни социализм не давали ему никакой пищи. Экспериментальная и аналитическая наука, философия, политический утилитаризм – всё это виды деятельности, серьезные до последней капли...

...Общество стало чересчур уж сознательно воспринимать свои стремления и интересы. Оно полагало, что уже выросло из своих детских одежд».

Переходя к XX веку, Йохан Хейзинга замечает, что даже те игры, которые по определению не предполагают какого-либо другого содержания – например спорт – постепенно становятся предельно серьезными и утрачивают собственно игровое начало, о чем свидетельствуют всеобщее распространение профессиональных (по существу коммерческих) команд и массовые организованные спортивные соревнования с соответствующей рекламой:

«Поведение профессионала – это уже не игровое поведение, непосредственности и беспечности в нем уже нет... Совершенство, с которым современные социальные механизмы умеют усиливать внешний эффект массовых мероприятий, ничего не меняет в том факте, что ни олимпиады, ни организация занятий спортом в американских университетах, ни шумно пропагандируемые соревнования между странами не могут возвысить спорт до уровня деятельности, творящей стиль и культуру. Каково бы ни было его значение для участников

соревнований и зрителей, он остается бесплодной функцией, в которой древний игровой фактор по большей части уже успел отмереть».

Далее автор книги отмечает еще одно свойство современного общества: в то время как традиционно игровые формы теряют подлинно игровую природу, определенные занятия, не предполагающие этой природы, приобретают формальные признаки игры:

«В случае спорта – это игра, все более жесткая в своей растущей серьезности, но при этом все так же считающаяся игрою; в другом случае – серьезное занятие, вырождающееся в игру, но продолжающее считаться серьезным».

Об этом свидетельствуют, к примеру, игровые термины усвоенные деловым миром, такие как «рекорд», «соревнование» или «победа» и многочисленные бейсбольные термины в американской политике.

Тот же процесс угасания игрового начала Хейзинга видит и в области искусства:

«...к концу XIX в., не без влияния техники фотографии, волна искусства докатывается до приобщившихся к образованию масс. Искусство становится сферой публичной жизни, любить искусство становится хорошим тоном... В то же время судорожный поиск оригинальности становится главным импульсом создания художественной продукции. Эта постоянная потребность во всем новом, доселе неслыханном, устремляет искусство со ступеней импрессионизма к эксцессам XX столетия. В отношении пагубных факторов современного производственного процесса искусство оказалось уязвимее, чем наука. Механизация, реклама, погоня за внешним эффектом влияют на него больше, потому что оно более ориентировано на рынок и работает с привлечением технических средств.

Во всем этом не так просто найти игровой элемент».

Наука, которой в архаические времена несомненно свойственна была игра, хотя бы из-за ее, науки, полемического характера, по мере развития экспериментального аппарата и все большей точности, также обнаруживает все меньше игровых черт.

Что же касается общественной жизни, в том числе и политической, то здесь приходится наблюдать еще более удручающие признаки деградации игровых форм, которые начинают использоваться для сокрытия намерений общественного или политического характера. В этом случае, как отмечает Хейзинга, речь идет не о вечном игровом элементе культуры, а о притворной игре. А благоприятные условия для такого опасного притворства создает обретающее все большую власть в повседневной жизни свойство, характеризующее которое нидерландский ученый пользуется термином «пуэрилизм»¹ – понятием, включающим одновременно наивность и ребячество.

«Но ребяческая наивность и игра – это не одно и то же, - предупреждает он и продолжает, - Когда я несколько лет тому назад пытался охватить ряд внушающих опасение явлений современной общественной жизни термином пуэрилизм, я имел в виду сферы деятельности, в которых человек нашего времени, прежде всего как член того или иного организованного коллектива, ведет себя словно бы по мерке отроческого или юношеского возраста... Сюда попадает, например, легко удовлетворяемая, но никогда не насыщаемая потребность в банальных развлечениях,

жажда грубых сенсаций, тяга к массовым зрелищам. На несколько более глубоком уровне к ним примыкают: бодрый дух клубов и разного рода объединений с их обширным арсеналом броских знаков отличия, церемониальных жестов, лозунгов и паролей (ключей, возгласов, приветствий), маршированием, ходьбой строем и т.п. Свойства, психологически укорененные еще глубже, чем вышеназванные, и также лучше всего подпадающие под понятие пуэрилизма, это недостаток чувства юмора, вспыльчивая реакция на то или иное слово, далеко заходящая подозрительность и нетерпимость к тем, кто не входит в данную группу, резкие крайности в хвале и хуле, подверженность любой иллюзии, если она льстит себялюбию или групповому сознанию. Многие из этих пуэрильных черт более чем достаточно представлены в ранних культурных эпохах, но никогда с такой массовостью и жестокостью, с какими они распространяются в общественной жизни нашего времени».

Говоря об исходных причинах и дальнейшем росте этого явления культуры, Хейзинга называет такие факторы, как приобщение к духовным контактам широких полуграмотных масс и ослабление моральных стандартов.

«Состояние духа, свойственное подростку, не обузданное воспитанием, привычными формами и традицией, пытается получить перевес в каждой области и весьма в этом преуспевает, - пишет он. - Целые области формирования общественного мнения пребывают в подчинении темпераменту подрастающих юнцов и мудрости, не выходящей за рамки молодежного клуба... Занятия, претендующие на то, чтобы считаться строго серьезными... вбирают в себя заряд злобных страстей социальной и политической борьбы... Играющее дитя ведет себя не по-детски. Ребячливость проявляется лишь тогда, когда игра ему надоедает или когда ребенок не знает, во что играть... Во всех этих явлениях духа, добровольно жертвующего своей зрелостью, мы в состоянии видеть лишь знаки грозящего разложения. В этих явлениях отсутствуют существенные признаки настоящей игры, пусть даже пуэрильные манеры и соответствующее поведение большей частью внешне выступают в игровой форме. Чтобы вернуть себе вновь освященность, достоинство, стиль, культура должна идти другими путями».

Обращаясь к политической жизни Хейзинга напоминает, что еще совсем недавно организованная политическая жизнь в ее парламентарно-демократическом виде была полна несомненных игровых элементов. Дебаты в британской Нижней палате с конца XVIII в. весьма существенно отвечали нормам игры. На них постоянно оказывали воздействие моменты личного состязания. Он сравнивает это с нескончаемым матчем, в ходе которого те или иные мастера своего дела время от времени пытаются объявить друг другу шах и мат – не затрагивая при этом интересов страны, службу которой несут они с полной серьезностью. Это обеспечивает гибкость отношений, допускающую напряжения, которые иначе были бы невыносимы; отмирание юмора – именно оно-то и убивает.

Еще более ярко, чем в британском парламентаризме, игровой элемент проявляется в американских политических нравах.

¹ Пуэрилизм (лат. *puer* – ребенок, *puerilis* – детский) — форма истерических психозов, характеризующаяся детскостью поведения на фоне истерически суженного сознания. Термин был в 1903 г. предложен французским невропатологом и психиатром Эрнестом Дюпре. Поведение пуэрильного больного отличается от поведения ребенка сочетанием детскости с привычками, отражающими жизненный опыт взрослого.

Эмоциональный характер американской политики, по мнению автора книги, заложен уже в самых истоках национального темперамента и своим происхождением он обязан примитивным отношениям среди пионеров. Слепая верность партии, тайные организации, массовый энтузиазм в сочетании с ребяческой жадной внешними символами придают игровому элементу американской политики нечто наивное и непосредственное.

Однако слишком очевидные корыстные цели коллективной или индивидуальной выгоды в деятельности партий, видимо, плохо согласуются с сущностью настоящей игры.

Еще труднее увидеть игровое начало во внешней политике современных государств.

Здесь мы приближаемся в наших рассуждениях к критической точке, ибо наша повышенная чувствительность отчаянно сопротивляется сопоставлению таких понятий, как игра и война. Но вспомним о том, что чувствительность – это как раз то, во что вырождаются наши чувства по мере того, как разум уступает место жесткому рационализму. Возможно прежде люди знали о войне нечто важное, и если бы мы сохранили это знание, войны XX века не были бы столь жестокими и кровопролитными.

«Система международного права поддерживается взаимным признанием принципов и правил, которые, сколь бы ни были основания их укоренены в метафизике, на практике действуют как правила игры, - говорится в работе Хейзинги, - Выразительное утверждение *pacta sunt servanda* [договоры должны выполняться] фактически содержит в себе признание, что целостность системы покоится лишь на воле к совместному участию в общей игре... Соблюдение норм международного права всегда в высокой степени зависело от следования понятиям чести, приличия и хорошего тона. Не зря в развитии европейского военного права значительная доля принадлежала кодексу рыцарских понятий о чести... Обязанность официального объявления войны, хотя она нередко и нарушалась, входила в нормы поведения воюющих государств. Одним словом, старые игровые элементы войны, которые нам повсюду встречались в архаические эпохи, и на которые в значительной степени опиралась безусловная обязательность правил ведения войн, в какой-то степени существовали вплоть до недавнего прошлого и в европейских войнах Нового времени».

Современная война, по словам учёного, держится на принципе «друг или враг». Все реальные политические отношения между государствами подчиняются этому принципу. Другие – всегда или ваши друзья, или ваши враги. Враг – это чужой, тот, кто стоит у вас на пути или хочет вам помешать. Это противник, противостоящий в самом буквальном смысле слова, то есть тот, кого нужно убрать с дороги. И это принудительное сведение понятия вражда к почти механическим взаимоотношениям сторон лишает войну всякого соприкосновения с игрою. И хотя автор книги называет игровые сети, которыми опутана война «демоническими», они все же удерживали ее в статусе *ultima ratio* [крайнего довода] не допуская ее превращения в *ultima rabies* [крайнюю дикость]:

«В политике наших дней, которая основывается на крайней степени подготовленности и – если придется – крайней степени готовности к войне, едва ли можно узнать даже намек на игровое поведение в древности. Все, что связывало войну с культом и празднеством, исчезло из войн нашего времени, и с этим отчуждением от игры война также утратила и свое место в качестве элемента культуры».

И вот мы стоим лицом к лицу с проблемой, неразрешимость которой нас ошеломляет вместе с нидерландским историком культуры: игра – или серьезность.

Чтобы ее разрешить, автор книги предлагает прежде всего ясно осознать, что подлинная культура вообще не может существовать без некоего игрового содержания, ибо культура предполагает определенное самоограничение и самообуздание, определенную способность не воспринимать свои собственные устремления как нечто предельное и наивысшее, но видеть себя отгороженной некоторыми добровольно принятыми границами. Культура хочет, чтобы ее в некотором смысле играли – по взаимному соглашению относительно определенных правил. Подлинная культура требует всегда и в любом отношении *fair play* [честной игры], а *fair play* есть не что иное, как выраженный в терминах игры эквивалент добропорядочности. Нарушающий правила – разрушает самоё культуру:

«Чтобы это игровое содержание культуры было культуросозидающим... оно должно оставаться чистым, - пишет Хейзинга. - Оно не должно состоять в оболванивании или в отступничестве от норм, предписываемых разумом, человечностью или верой. Оно не должно быть ложным фантомом, маскирующим замысел осуществления определенных целей с помощью намеренно культивируемых игровых форм. Подлинная игра исключает всякую пропаганду. Ее цель – в ней самой. Ее дух и ее настроение – атмосфера радостного воодушевления, а не истерической взвинченности. В наши дни пропаганда, которая хочет проникнуть в каждый участок жизни, действует средствами, рассчитанными на истерические реакции масс, и поэтому – даже там, где она принимает игровые формы – не в состоянии выступать как современное выражение духа игры, но всего лишь – как его фальсификация».

Однако, мысль об игре не может прийти в голову подвергшимся нападению или тем, кто борется за свои права и свободу. Но только потому, что здесь борьба обладает нравственной ценностью, и именно нравственное содержание является тем пунктом, где квалификация игры теряет свое значение.

Определить это различие можно только поднявшись над областью простой логики. Продумывая вещи чисто логически, человек не уйдет слишком далеко:

«Когда человеческая мысль проникает во все сокровища духа и испытывает все великолепие его могущества, на дне всякого серьезного суждения она всякий раз обнаруживает некий остаток проблематичного. Любое высказывание решающего суждения признается собственным сознанием как не вполне окончательное. В том пункте, где суждение колеблется, исчезает сознание полной серьезности. И старинное «все – суета» вытесняется, пожалуй, более позитивно звучащим «все есть игра». Это кажется дешевой метафорой и каким-то бессилием духа. Но это – мудрость, к которой пришел Платон, называя человека игрушкой богов. В чудесном образе мысль эта возвращается в Книге притчей Соломоновых. Там Премудрость, источник справедливости и владычества, говорит, что прежде начала творения, играя пред Богом, была она Его радостью и, играя в земном кругу Его, разделяла радость с сынами человеческими».

Радость. В который раз мы слышим это слово.

«Игра сама по себе... лежит вне сферы нравственных норм, - продолжает автор книги. - Сама по себе она не может быть ни дурной, ни хорошей. Если, однако,

человеку предстоит решить, предписано ли ему действие, к которому влечет его воля, как нечто серьезное, или же разрешено как игра, тогда его нравственное чувство, его совесть незамедлительно предоставит ему должный критерий. Как только в решении действовать заговорят чувства истины и справедливости, жалости и прощения, вопрос лишается смысла. Капли сострадания довольно, чтобы возвысить наши поступки над различиями мыслящего ума».

Можно было бы вероятно сказать, что противоположностью игре в таком понимании является вовсе не серьезность. Её противоположность – варварство. Варварство, иногда надевающее на себя вечерние туалеты, джинсы, тренировочные костюмы, латы хоккеистов, бикини, скафандры космонавтов, взрывчатку, сутану, национальные цвета...

И мы – у себя дома.

По мнению Йохана Хейзинги, здоровая культура, ныне пораженная отсутствием игрового содержания, должна непременно привести нас к осознанию, что мы нечто большее, нежели всего только разумные существа. При этом нидерландский ученый утверждал, что спасения не следует ожидать от вмешательства регламентирующей власти, поскольку основы культуры имеют особую природу, и их не могут закладывать или поддерживать коллективные субъекты как таковые, будь то народы, государства, церкви, школы или партии и ассоциации. Для этого необходимо внутреннее очищение самого индивидуума, то есть, должно измениться само духовное состояние человека.

Он сравнивает этот процесс с катарсисом древних трагедий, с тем состоянием духа (и «безмолвием сердца»), в котором смешиваются сочувствие, страх и очищение души, возникающее из постижения более глубоких истоков вещей, и уподобляет его пробуждению ранним утром ото сна. Вы должны помнить буквально ту же метафору Тростникова, в названии книги которого есть фраза «перед рассветом».

Получается, что даже в своих сновидениях человек все еще смертельно серьезен. И не только в отношении самого себя и своих достижений, но и в попытках осмыслить что бы то ни было новое. Эта варварская серьезность, по-видимому, и блокирует наше сознание.

Тогда подождем пока с Откровением. Попробуем взглянуть только на себя, но не в лоб, а немножко искоса, не упершись взглядом, а присматриваясь.

VII

Мышлению человека исполнилось 70 000 лет. Нельзя сказать, что оно ни в чем не преуспело. Но не будем приписывать всю его славную историю самим себе, тем, кто живёт сегодня. Постараемся увидеть себя только как ее результат. Боюсь, что его не назовёшь иначе как посмешищем.

Вспомним для сравнения пугающее чувство необъятности пространства и времени. Мы испытываем это чувство, когда обращаемся к звездному небу не безмятежно коротким взглядом, а пытаюсь проникнуть как можно дальше, ощупать эти неисчислимы парсеки, разделяющие огромные, подобные всему Земному шару, а то и превосходящие его размером миры.

Представим себе и другую, кажущуюся более доступной нашему сознанию реальность – существование мыслящего человечества на Земле со времени его возникновения со всей его долгой историей развития, конфликтов, культур и цивилизаций, научным и техническим прогрессом, общественными преобразованиями, глубинами психологии и философии.

И попробуем вообразить, что эта человеческая реальность на самом деле – мелочь, веселый эксперимент, одна из бесчисленно возможных, но и необходимых ему затей животворящего Духа, в которой в меру своей боговдохновенности призван на равных правах участвовать и человек.

Что если именно к этому осознанию предназначено двигаться человеку? Невероятная весомость, тяжесть, неподъемность мира, его истории, его затянувшихся заблуждений, его греховности – но и несравненно превосходящие эту тяжесть возможности Создателя. Не очевидно ли, что в такой перспективе наша раздувшаяся самовлюбленность заслуживает по меньшей мере усмешки?

Пытаясь разглядеть свое будущее, человек по-прежнему хочет до него додуматься сам, своими силами. Но даже о собственных силах его представление неточно. *Додуматься* же вообще нельзя. Во всяком случае, если подразумевать под этим процессом обретение истины, необходимо призвать к сотрудничеству Дух. А сделать это в полную силу можно только оказавшись в подходящем месте – на своем месте, в правильной перспективе по отношению к мирозданию. И подтверждением прибытия туда будет сначала вот это устойчивое чувство неполной серьезности, неосновательности любых внешних событий. Так что к нему стоит постепенно привыкать.

Это еще не решение, не истина, не сама тайна. Это предуготовление к ним, предрасположенность к их узнаванию, раскрытие глаз и души. Это еще не ответ на вопрос «что нам делать», а готовность – и способность – *узнать*, что следует делать. Прислушаться, слегка порастрясти «заботу», не уклоняться при случае от веселых, шальных, карнавальных обычаев, но отнестись к ним с подобающим уважением и вниманием, ибо природа карнавального смеха столь же сложна, как и природа самого человека. Об этом писал М. Бахтин:

«Прежде всего, он *всенароден*. Смеются все, это – смех «на миру».

Во-вторых, он *универсален*, он направлен на все и на всех, в том числе и на самих участников карнавала, весь мир представляется смешным, воспринимается и постигается в своем смеховом аспекте, в своей веселой относительности.

И, наконец, в-третьих, этот смех *амбивалентен*: он веселый, ликующий и одновременно насмешливый, высмеивающий. Он и отрицает, и утверждает, и хоронит и возрождает».

Русский филолог отмечает современную грубую модернизацию смеха, оставившую ему только сатирические и чисто развлекательные формы, и уточняет, что сатирик, знающий только отрицающий смех, ставит себя вне осмеиваемого явления, противопоставляет себя ему, и этим разрушается целостность смехового аспекта мира, а чисто развлекательный, бездумно веселый смех – лишен всякой мирозерцательной глубины и силы.

Этот двойной аспект восприятия, серьезный и смеховой аспекты божества, мира и человека существовали с самых ранних стадий развития культуры, были одинаково священными и сохранялись в отдельных обрядах и в более поздние времена. В Риме церемониал триумфа почти на равных правах включал в себя и прославление и осмеяние победителя, а похоронный чин – и оплакивание, и осмеяние покойника.

Дальний отголосок этого мироощущения можно до сих пор встретить в джазовых похоронах в Новом Орлеане.

Процессию, направляющуюся после отпевания в церкви к кладбищу, сопровождает джазовый оркестр особого состава – диксиленд, который сначала играет печальную музыку. Затем, по мере приближения, музыка становится более ритмичной, предупреждая скорбящих, что общее настроение скоро изменится. И наконец, музыка становится

оживлённой и радостной, сопровождаясь танцами, символизируя катарсическое освобождение и усопшего, и провожающих его.

Эта древняя традиция, привезённая черными рабами из Африки и сохранившаяся до сегодняшнего дня, является одновременно символом смерти и символом жизни. Символом возрождения. Конечно, нужно обладать более открытым взглядом на мир, чтобы так провожать человека в последний путь. Последний – здесь. Путь – простирающийся на самом деле далеко за пределы могильного склепа.

Прежде чем расстаться с обременяющими его сновидениями прогресса, человеку надлежит весело похоронить свою понурюю решимость продолжать двигаться прежним путём.

Надеюсь, вышеизложенное не выглядит, как призыв превратить в карнавал нашу жизнь. Я далёк от этой нелепой затеи. Но вот эту позабытую скромность, несколько юмористическое отношение к себе нам не мешало бы восстановить. Считал же Гёте, что односторонняя серьёзность и страх – это чувство *части*, ощущающей себя в отрыве от целого. Само же целое в его «вечной недоконченности» носит «юмористический», весёлый характер, то есть – доступно пониманию в смеховом аспекте.

Мы ведь, в сущности, уже не ищем более пути к совершенному существованию на Земле. Так, может быть, следует признать, что эта, когда-то внушенная нам потребность была всего лишь временной необходимостью ускорить развитие научного мышления, не сдерживаемого схоластикой, отвлечься от ее крайностей и, набрав инерцию, прийти к осознанию, что сам по себе научный прогресс главных задач не решает. Убедиться, что такая потребность была своеобразной уловкой, испытанием на сообразительность, способом доказательства, что такого пути на самом деле нет, что искать следует в другой сфере. Не *искать*, чтобы жить, а *жить*, чтобы искать, как Быть.

Даже если допустить, что все, что мы делали до сих пор, делалось из стремления к Добру, итоги этой деятельности неутешительны, и Добра в мире прибавилось немного. Во всяком случае, Зло ему пока не уступило. А наше озабоченное, часто ожесточенное существование все ещё лишено освобожденности, легкости, цельности, просиянности. Но ведь и наисветлейшее будущее, о котором способен мечтать человек, это вовсе не «царство добра». Так называемый Рай предполагает прежде всего прекращение человеческой заботы, и представление о нем проясняется, когда мы мыслим его как красоту. В том числе и красоту идеи, мысли, о которой свидетельствовал никто иной, как выдающийся математик Пуанкаре.

Преображение и просветление мира, по словам Бердяева, и есть красота, а не добро.

VIII

Слишком увлеклись, переусердствовали, затянули. Пора вздохнуть, взглянуть на себя со стороны и...

И продолжить свои усилия во всех областях деятельности – медицинских и психофизиологических исследованиях, космических путешествиях, поисках безвредной энергии и прочих, но уже немножко играя, развивая в себе устойчивое чувство неполной принадлежности к этому миру, усваивая это чувство всем человечеством и завершая таким образом нынешний этап его земной истории.

Достигнув такого осознания и утвердившись в нем, человек откроет себя для могучей поддержки свыше, найдет в себе и разовьет свойства и возможности, необходимые ему (и Создателю) для следующего шага, мира, зона, в котором преобразенному и духовно, и физически человеку, возможно, будут подчинены и время, и пространство для каких-то

новых, неведомых, непостижимых в пределах нынешнего, слишком скованного материальным миром бытия, задач – но уж наверняка не менее увлекательных.

Предвидения путешествий во времени или «прокола» пространства – всего лишь наивная игра воображения. Путешествовать во времени – праздное, никчемное занятие. А вот управление временем, его ускорение и замедление – вещь не только возможная, а уже существующая в глубоком космосе и микромире. Может быть, человек способен этим овладеть. Что касается свертывания пространства, то ему уже есть математическое выражение.

Может быть, на этом, следующем этапе будет даже решаться проблема небытия (Ничто). Может быть, еще нет. Это нам предстоит узнать.

Может быть, и смерть лишится, наконец, своего жала. Она продолжит своё тёмное дело, поскольку для человека неизбежна, однако это всего лишь смерть тела, оболочки, которая прекрасно тебе послужила, но почти полностью подчиняется вещному миру. В конце концов, это, слишком хорошо знакомое нам тело, вероятно тоже способно измениться, высвобождаясь постепенно от преобладающего влияния синтаксиса и все более подчиняясь животворному воздействию семантики.

Именно тогда, изменившись сам, человек вероятно сможет преобразить и Землю, спасти ее от катастрофы, создать на ней подобие земного рая. И не просто для себя, а в знак благодарности ей и в знак собственного возвращения, собственного могущества, равного одному из творческих импульсов Создателя. Чтобы оправдать всё-таки Его провиденциальное, малоубедительное для нас пока восклицание: «И это – хорошо!».

Как же найти в себе силы и смелость прибавить к взгляду на нынешние успехи – и провалы – хотя бы легкий оттенок игры, усмешки?

Как ни покажется странным, на этот вопрос отвечает один из фрагментов Нагорной проповеди, лежавший в основе всех движений непротivления злу насилieм. Но только мы, одурманенные редукционистским мышлением, не позаботились о том, чтобы прочитать его до конца.

В своём обращении к выпускникам одного из американских колледжей Иосиф Бродский напомнил молодым людям, что Сын Человеческий обычно изъяснялся трехстишиями. И вслед за «Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую» через точку с запятой следует: «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду», а затем: «И кто принудил тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».

Уже в самой этой триаде, взятой в целом, невозможно не расслышать затаённого смеха и не увидеть скрытых признаков игры. Хотя на практике речь может пойти и о самой черной минуте жизни, когда силы противников настолько неравны, что об ответном ударе нельзя и помышлять. Для наглядности Бродский привел случай, имевший место в одной из советских тюрем.

В семь часов утра вертухай, распахнув дверь камеры, объявил, что коллектив ВОХР вызывает заключенных на социалистическое соревнование по рубке дров. Отказ грозил лишением пайка. К полудню все, в первую очередь изголодавшиеся зеки, выдохлись. Во время перерыва все сели перекусить, кроме одного заключенного, который продолжал рубить. Над ним дружно смеялись и острили. (Кажется, это был еще не настоящий смех). Вскоре работа возобновилась. В четыре у охранников кончилась смена. Чуть позже остановились и зеки. Лишь один топор по-прежнему мелькал в воздухе. Несколько раз ему говорили «хватит» – и заключенные, и охрана, но он не обращал внимания. Прошел час, два часа, он все рубил. Охрана и заключенные смотрели на него пристально, и глумливое выражение на лицах сменилось изумлением, затем страхом. В половине восьмого он

положил топор, шатаясь, добрел до камеры и заснул. В остаток срока, проведенного им в тюрьме, социалистических соревнований между охраной и заключенными больше не организовывалось.

«Подобный образ действий ставит жертву в активнейшую позицию – позицию духовного наступления, - говорил Бродский. - Победа, если она достигнута, не только моральная, но и вполне реальная. Другая щека взывает не к совести обидчика, с которой тот легко справится, но ставит его перед бессмысленностью всей затеи... В таком виде строчки Евангелия мало имеют отношения к непротивлению злу насилием, отказу от мести и воздаянию добром за зло. Смысл этих строк никак не в призыве к пассивности, а в доведении зла до абсурда».

«Если приняты правила игры, - могли бы мы добавить. - И сама игра доведена до победы – или до поражения соперника, отказавшегося от правил раньше времени».

Можно вполне представить себе, что в других условиях, в отсутствие забитости и бесправия заключенных их «изумление и страх» наверняка разрешились бы хохотом. И это был бы настоящий жизнеутверждающий смех над жестоким предложением охраны.

Разумеется, смешного во всей этой ситуации ничего нет.

«В данном случае подставленная вторая щека – это выражение сознательной, холодной, твердой решимости, и шансы на победу, сколь бы малы они ни были, прямо зависят от того, всё ли вы взвесили, - продолжал Иосиф Бродский. - Поворачиваясь щекой к врагу, вы должны знать, что это только начало испытаний, как и цитаты, и должны собраться с духом для прохождения всего пути – всех трех стихов из Нагорной проповеди. В противном случае вырванная из контекста строка приведет вас лишь к увечью... в России, этика, основанная Толстым на оборванной цитате, в большой степени подорвала решимость народа в борьбе с полицейским государством. Что впоследствии – известно: за шесть десятилетий подставленная щека и все лицо народа обратились в один огромный синяк, и государство, уставшее от бесчинств, в конце концов стало попросту плевать в него. Как и в лицо всему миру».

Бродский замечает далее, что подставлять или не подставлять другую щеку в конечном счете каждый решает сам: «Борьба идет без свидетелей. Ее орудием служит твое лицо, твоя одежда, твоим ногам предстоит шагать. Советовать, тем более указывать, как распорядиться этим достоянием, не то чтоб недопустимо, но безнравственно. Всё, к чему я стремлюсь, это освободить вас от словесного штампа, который подвел столь многих и принес так мало пользы. И еще я бы хотел заронить в вас мысль, что пока у вас есть лицо, рубашка, верхняя одежда и ноги, не безнадежен и беспросветный мрак».

Вспомним, что в рассказанной им истории речь идет не о честной схватке – силы противников изначально неравны, нет возможности ответить ударом на удар, и все обстоятельства против тебя. И, тем не менее, стоило этому человеку своими руками поднять ситуацию до уровня игры – и всё встало на свои места, и социалистическое соревнование село в лужу, где ему и было место.

Настоящая игра – без профессионалов, без излишней шумихи вокруг и без притворства – может быть очень серьезной и все же оставаться игрой.

«В северном Афганистане разъяренная толпа убила по меньшей мере семерых иностранцев и подожгла дание местного отделения ООН».

«В иракском городе Фалуджа взрывник-самоубийца одетый дворником, приблизился к солдатам, охранявшим мечеть и детонировал заряд. Убиты два солдата и один молящийся. Ещё шесть человек, включая четырех солдат получили ранения».

«В Сирии, во время возникших столкновений в пригороде Дамаска силы безопасности убили по меньшей мере четырёх человек».

«Вооружённые люди ворвались в бар в пограничном мексиканском городе Гвидад Хуарес и открыли огонь. Убиты восемь человек».

Эти сообщения взяты из одного выбранного наугад выпуска ежедневной газеты «Вашингтон пост».

Терроризм – вот камень нашего преткновения.

Что здесь имеет хоть какое-то отношение к юмору?

Ровным счётом ничего. Само предположение оскорбительно для невинных – да и для повинных – жертв.

Но мы ведь продолжаем наблюдать за этими событиями бессильным взглядом истерзанного насилия современника, не потерявшего еще, как это ни удивительно, способности сопереживать чужому страданию.

Мы хотели бы, чтобы оно прекратилось. Но как-то само собой. Что, собственно, мы делаем, чтобы его остановить? Полагаемся на специально обученных людей, которые тщетно уничтожают отдельные ячейки широко раскинутой и неуловимой, безымянной или многоимённой сети. То есть, лечим симптомы и даже не берёмся за изучение болезни. А «симптомы» тем временем создают себе в своей сети за наш (и за свой, конечно) счёт вдохновляющий ореол мучеников. Мы поступаем неразумно, но оскорбляемся, когда задевают наши чувства. Мы получаем одну за другой пощёчины, а в ответ машем кулаками по воздуху и при этом стараемся удержать высокоморальную позицию невинно обиженных. Тут нет ни «другой щеки», ни даже «ока за око». Тут вообще ничего нет. Пустота.

Вот эта поза беспомощного превосходства – разве не заслуживает она усмешки?

Но мы только палимся, кричим «не надо!» и отворачиваемся.

Мы не ведём переговоров с террористами.

Но что если просто в качестве мысленного эксперимента спросить: чего хотят террористы, вернее те, кто ими управляет? Установить шариат на всей земле? Я думаю, что даже их безумным головам эта идея представляется явно неосуществимой. Во всяком случае для начала им необходим какой-то плацдарм. Тогда – установить свою власть на территориях, непосредственно их окружающих? В Афганистане, Пакистане, Сирии, в Саудовской Аравии... Так пусть попытаются.

Даже если население соблазнится их идеями – что сомнительно – и в мире появятся кроме Ирана еще три-четыре страны с явно мракобесным, противопоставляющим себя мировому сообществу режимом, мы, по крайней мере, будем знать, с кем имеем дело. Их мракобесие станет очевидным для всех, как только они вынуждены будут так или иначе общаться с остальным миром. Каковы, например, реальные перспективы у рвущегося к ядерному оружию Ирана? Даже такие, до сих пор тёмные, но сильные лошадки, как Китай или Россия, вряд ли захотят вступать с ними в союз. Их терроризм – если они ещё отважатся на него, хотя оправдать его будет уже нечем – станет нарушением государственных границ, а во всем мире за него – коллективным и окончательным.

Такое развитие событий безусловно несет с собой риск. Но мы отваживаемся на риск в куда менее важных и часто недостойных начинаниях. Так что дело не в риске.

Мы временно потеряем источники ресурсов. Мы упомянули Саудовскую Аравию. Это – нефть. Без нефти мы не можем, это факт. Так значит в этом всё дело? В основе нашего оскорблённого усмешкой достоинства лежит не достоинство, а простая зависимость, в которую мы себя загнали. Наша глупость, в которой не хочется признаваться. Но здесь еще больше оснований для смеха.

И с какой стати династия Саудов или армия Пакистана уступят власть Усаме бен Ладену? А куда он будет девать свою нефть? Перестанет добывать? Деньги ему будут нужны, а кроме нефти взять их будет неоткуда. Заломит цены? Так это ведь еще не катастрофа – мировой рынок их удержит...

Всё это совсем не так просто, и завязли мы гораздо глубже, чем это возможно изложить в коротком обзоре. Да и само это отступление в сторону политических гипотез, вероятно, лишено особого практического смысла. Я хотел только намекнуть, что за самыми кровавыми событиями скрывается игра неких сил. И что, может быть, имеет смысл с этими силами играть, а не просто их терпеть или не замечать. Только так их можно обыграть и – остановить кровопролитие.

IX

Верующие утверждают, что постичь, воспринять всем существом смысл смерти и Воскресения Христова можно только с помощью откровения, которое дается не всем. Но если рассматривать явление Сына Божьего всего лишь как напоминание человечеству, что невозможное возможно, оно обретает более постижимый смысл.

Может быть, это было не началом последнего откровения (и Христианская Церковь сбилась с пути, так его истолковав), но неустрашимым отныне напоминанием о том, что как бы далеко ни развивалась земная жизнь, на каком-то этапе ей придется осознать свою смехотворную серьезность. И возможно именно тогда случится третье Богоявление – явление Духа Святого.

Первым было откровение Творца древнему человечеству, сохранившее в форме мифа, в соответствии с недостаточно развитой способностью человека к абстрактному мышлению, некое представление об устройстве мироздания, включая образ растерзанного Бога. Этого хватило, чтобы создать великие цивилизации Египта, Китая, Эллады.

Затем человек явился в облике Сына Божьего. И влияние движения, им инициированного, привело к созданию научно-технической цивилизации с высоко развитым абстрактным мышлением, допускающим даже такие концепты, как нерасчлененная онтология, свертывание пространства и относительность времени.

Разве не естественно предполагать, что после Создателя (Бога-отца) и Христа (Бога-сына) должна прийти эпоха последней ипостаси триединства – Духа Святого, который есть освобождающая и преображающая сила. И что нам, «глупцам, шарлатанам и педантам» (как, впрочем, и всем остальным) следует позаботиться об этом приходе.

Поклонники систематизации, возможно решат называть такое расположение в мире «новым стоицизмом». Что ж, никто лучше не определил принципы стоицизма, чем его основоположник:

«Кто... выше человека, благочестиво мыслящего о богах, свободного от страха перед смертью, путем размышления постигшего конечную цель природы, понимающего, что высшее благо легко исполнимо и достижимо, а высшее зло связано с кратковременным страданием; смеющегося над судьбой, которую некоторые вводят как владычицу всего?...»¹

¹ Эпикур. Из письма к Менекею

Ранее, в изложении взглядов Иохана Хейзинги мелькнуло определение Платоном человека, как игрушки богов. Вот что на самом деле говорит греческий философ:

«Хотя дела человеческие не стоят большой серьезности, но приходится быть серьезным, пусть и нет в этом счастья... Серьезным следует быть в том, что серьезно, а не наоборот. Божество по своей природе достойно всяческой благословенной серьезности. Человек же сотворен, дабы служить игрушкой Бога, и это, по существу, самое лучшее для него. Этому-то и надо следовать, проводить свою жизнь, следуя своей природе и играя в самые прекрасные игры, хотя полагать это и противоречит тому, что ныне принято...

Надо жить играя. Что же это за игра?.. Отчасти уже вдоволь дано указаний о жертвоприношениях и хороводных плясках, *отчасти же даймон и бог внушат им, в честь кого и в какое время надо их совершать*, чтобы, играя, снискать милость богов и прожить согласно свойствам своей природы, ведь люди в большей своей части — куклы и лишь в малой степени причастны истине».

«Ты полностью принижаешь род человеческий, чужеземец», — возражает ему собеседник. И Платон отвечает:

«Прости меня. Я взирал на бога и под этим впечатлением сказал сейчас свои слова. Если тебе угодно, будем считать наш род не презренным, но достойным некоторого попечения».

Иногда может охватить уныние от мысли о том, что для возможности нового Откровения необходимы духовные усилия, одухотворённость всего человечества – всех восьми миллиардов. На самом деле это ложное уныние, результат отчаянной попытки алгоритма настоять на своём. Оглянитесь вокруг, и испуг тотчас же растворится в неожиданном чувстве радости, в сознании того, что таких людей уже очень много, в ощущении внутренней связи с ними, общности в ожидании и приготовлении нужного момента, когда чаша весов ощутимо потянет вниз, и начнется явное всеобщее преобразование.

Для его начала одухотворенность всех не обязательна. Царствие небесное приходит неприметно.

Когда Виктор Тростников писал о том, что современная наука создала новый феномен – «всепланетное человечество», еще не существовало интернета и спутниковой телефонной связи. Теперь мы знаем, что это всепланетное человечество располагает мгновенными и повсеместными средствами общения. И распространение новых идей может осуществляться гораздо быстрее, чем это было в прошлом. Вероятно, это внешнее объединение человечества тоже было одной из целей научной революции – и Провидения.

Мы не знаем, когда нам предстоит превратиться в homo reformatus (человека преображённого). Но, если это то, чего мы ожидаем, надо вновь научиться быть homo ludens (человеком играющим). А для начала стоит хотя бы время от времени становиться homo ridens (человеком смеющимся).